



МАРИЯ ВОРОБЬИ

СЕМЬ СЕМЕНОВ



МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В75

Воробьи, Мария.

В75 Семь Семенов : роман / Мария Воробьи. —
Москва : Эксмо, 2026. — 320 с.

ISBN 978-5-04-245862-0

Что будет с человеком, который однажды решил не видеть человеческого зла?

Семен Костин, сын владельца кирпичного завода, принимает решение, которое определит всю его жизнь, и проходит через крушение Российской империи, революцию и Великую Отечественную войну, пытаясь сохранить в себе способность любить и не ожесточиться.

«Семь Семенов» — роман о времени, в котором история России XX века становится историей человеческой души.

Не всякое зрение помогает увидеть мир, и не всякая слепота лишает человека света.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Воробьи М., 2026
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-245862-0

Часть 1

СЫН

ГЛАВА 1

Одно из первых чувств, которое испытывает родившийся ребёнок, — это голод. От голода он кричит. Потом замирает и прислушивается: не сознательно, конечно, но прислушивается — будут ли кормить.

Жилец он или нежилец.

Ухаживающие за умирающими от голода говорят, что рано или поздно, в какой-то окончательный момент, люди перестают его чувствовать, и, если положить перед ними хлеба или вложить им в руку или в рот — они его уже не съедят.

Они не чувствуют голода, а что они в этот момент чувствуют — никто не знает.

Все младенцы кричат от голода, и Семён не был исключением. Как все младенцы, Семён Гаврилович Костин кричал от голода уже через полчаса после рождения. Его поднесли матери, у которой он был первенцем, но она очень ловко и умело (никто не сказал бы, что она делает это в первый раз) поднесла его к груди. Тогда новорождённый Семён на время забыл о голоде. Потом ему не раз и не два приходилось вспоминать о нём. Ему даже придётся от голода умереть. (Многие биографии начинают-

ся со смерти. Так легче выносить жизнь, идти по ней — если уже заранее знать, чем кончится дело. Теперь судьба Семёна открыта всем: известны начало и конец.)

Да, ему предстоит от голода умереть. Но не сегодня. Сегодня мать ласково сказала:

— Правда, он хорошенький мальчик?

Она внимательно и ревностно оглядывала его — красное от плача личико, глаза с широкими чёрными зрачками, какие бывают только у новорождённых, редкий, с залысинами, пушок волос. Она оценила его всего, прежде чем вынести вердикт: что это такое я родила? Это теперь моё? Хорош он или дурён?

Но она решила, что он хорош, и улыбалась теперь ему. И в этих ласковых словах было большое ожидание счастья.

Мать звали Натальей. В имени было много надежд, имя словно обещало иную жизнь: чуть более богатую, чуть более счастливую, чем было на роду написано. Имя предполагало книжки, рояли, может быть, даже балы.

В реальности была большая дверь светлой и богатой бакалейной лавки, корова с печальными глазами, четверо братьев, трое сестер и она — Наталья — меньшенькая. Она не знала, почему её так называли. Отец не был человеком, который бы рвался выше своего места. Мать тоже такой не была, она казалась вечно уставшей, в платке, повязанном как-то криво, как не носили даже крестьянки. У неё было восемь детей, а платок чудесно скрывал волосы, которые она мыла намного реже, чем все. Мать Натальи называла мужа — «отец». Он её —

«бабка», хотя был старше на двенадцать лет. В этом была правда их жизни: матери цвели красивее, но отцветали раньше отцов.

Наталья была последышем, рождённым уже в самом конце материнского цветения, и любили её все. Она с молчаливого желания родителей задержалась в отцовском доме, чтобы продлить им жизнь, — было почему-то понятно, что стоит и ей упорхнуть, как они сразу из зрелых и крепких ещё людей сразу станут стариками. У них не останется больше непристроенных детей, только внуки: и старший сын примет лавку и опеку над родителями. Это случится не за один день, но счёт дням, которые поведут их к могиле, начнётся, когда Наталья невестой выйдет за порог. Поэтому она задерживалась и была, на самом деле, и не против задержаться.

Братья переженились. Трое съехали из родительского дома: двое остались в Твери, а одного что-то понесло дальше. Он поехал сначала в Москву, потом в Петербург, затем его залихорадило, заметало, он сплавлял лес по Волге, ходил с рыбаками в Астрахани, объезжал коней, живя у терских казаков — и однажды кто-то сказал ему про то, что вечный лёд бывает голубым. Он не поверил сначала, а потом захотел увидеть — так захотел, что ушёл на самый Север, то ли с экспедицией, то ли сам — семья так и не узнала. Как не узнала и того, что он там замёрз насмерть, там, где снега никогда не тают — и лицо его останется нетленным ещё долгие годы. Он будет смотреть в вечность, в мерзлоту, умерев, сидя к дому спиной, пока его кости не обглодают белые северные песцы.

Оставшиеся братья были обыкновенными: носили сюртуки, были рабочими, трудились в лавке, служили приказчиками, дарили сёстрам по серьгам, жёнам — по бусам. Притаскивали своих детей, иногда оставляли надолго в лавке, Наталья любила за ними смотреть: себе хотела много детей. Больно мягкие и пушистые у них были волосы, и сквозь свет этих волос Наталья не видела или не хотела видеть того, каким трудом дались матери её братья и сёстры.

Наталье исполнилось уже двадцать пять лет, когда один из братьев пришёл в лавку с Гавриилом Костиным. Гость был рыжий, скуластый, как татарин, с небольшой щербинкой между зубами. Никто не называл его Гавриилом. От полного имени несло ладаном и чем-то чересчур важным. Он был Гаврила, иногда — Гаврил Фёдорович. Он был сыном крестьянина, выкупившегося из крепостничества в тысяча восемьсот шестидесятом году.

Фёдор копил на выкуп семьи много лет, недоеда, недопивая, и скопил всё-таки какими-то немислимыми усилиями всю сумму. Первые два года он был счастлив, но в шестьдесят втором грянула реформа, и свобода, давшаяся таким сверхчеловеческим напряжением воли, которое никто даже не мог предположить, вдруг стала бесплатной, общей, не стоящей почти ничего.

Эта история очень сильно повлияла на Фёдора: он запил и практически промотал своё хозяйство. Никто в роду не умел — вовремя. Все делали или рано, или поздно. Считали, искали, выгадывали, пытались поймать — но время смеялось, ускользало, обманывало.

Гаврила был так же зол, последователен и беспощаден к себе, как отец, но другую кабалу видел перед собой: бедность.

Как и где поднимался — темно, страшно, непонятно, — но утром солнечного мая он возник на пороге Натальиной лавки тридцатипятилетним женихом с собственным кирпичным заводом. Завод был маленький. Рядом, в Твери, были гиганты: завод Коншиных. Трест. Сообщество. В таких условиях сложно было вести своё дело. Нужно было уже становиться частью мануфактуры, входить в объединение, а то и продать все свои жалкие попытки и идти к Коншиным на поклон, начальником цеха.

Мир ускорился, и теперь уже Гаврила за ним не успевал. Но он был упрям, говорил миру — поборемся. Бежал почти наравне. И шёл сейчас быстро, подпрыгивающей походкой, резко дёргал двери, резко их затворял и так же, на бегу, ворвался в лавку, а там его встретила судьба. Серьёзная сероглазая судьба. Могла бы быть любовь, да вот не случилась: жаль даже, что не любовь, а только судьба.

И Гаврила, что боялся спать, что боялся медлить, что боялся сидеть на месте, вдруг замер. Спросил осторожно:

— Вы мне фунт табаку отсыпьте?

Наталья отвернулась, начала копать в тюках — она-то не замедлилась. Она-то ничего такого не почувствовала. Когда она отвернулась, Гаврила спросил у её брата, прямо, грубо, нервно:

— Что, сестра твоя просватана?

Это было ужасно, и Гаврила, только вымолвив, сам понял, как это было — и пошёл пятнами, но придумать ничего не мог, чтобы сгладить конфуз.

Брат замешкался, и тут повернулась сама Наталья — невиданное дело — щёки как маков цвет горели — и сказала насмешливо:

— Не просватана. Вы, что ли, свататься собрались?

— А может, и я, — опять хрипло и с расстановкой сказал Гаврила. Он, как минуту назад проклинал свой язык-помело, тут ему резко порадовался.

— Ну так за этим вам к батюшке надо, — сказала она, аккуратно взвешивая табак. Как будто он резко стал ей неинтересен. Как будто она такое в своей лавке слышала через день.

И действительно забыла о нём, и, когда в дом зачастила сваха, а потом и явился сам Гаврила — в чёрных начищенных сапогах, мнуций картуз в нервных руках, — очень удивилась.

У них родилось пятеро детей. Трех из них успели окрестить. Из этих трех ещё двое кое-как дотянули до полугода. До взрослого возраста дожил только первенец. Первенца называли Семёном в честь праведного Симеона Богоприимца.

Семёном Гавриловичем. Семёнов было много. Семёны были разными. Семёны были крестьянами. Семёны были купцами. Семёны были мещанами. Семёны были солдатами. Семёны были даже служащими. Семёнов мало было только на самом золотом верху, там, где из века в век детям давались красивые, необычные имена: закольцованные в честь предков, в честь героев романов, в честь родовитых восприемников, в честь членов августейшей семьи.

Семёны были разные. Были худые Семёны, были тучные. Были у них разные глаза: татарские, бурятские, русские. Были Семёны сухие, были Семёны

потные. Были Семёны голодные и были Семёны сытые, но чаще, конечно, голодные, чем сытые.

Что делать, имя часто встречалось в святцах.

Наталья Ивановна радовалась тому, что Бог оставил ей хотя бы этого ребёнка.

Брак Натальи и Гаврилы, начавшийся с понимания, имел все возможности продолжиться так же. Ни он, ни она не были слишком юными, чтобы мечтать о чём-то, чего другой не мог предложить. Он её выбрал, и она ему подыграла: всё, правда, имело хорошие шансы закончиться приязнью, если не любовью. Но в дело вмешался случай, или фатум, или просто Гаврилин фатальный недостаток воображения. Он умел мечтать, Гаврила, но не умел мечтать слишком высоко — и на беду его, он достиг того, что намечтал себе. Он не думал, что достигнет, поэтому и выбрал себе такую мечту.

Мечта его состояла в кирпичном заводе, и чтобы самому больше никогда не ходить за плугом, и чтобы всегда иметь пару хороших чёрных кожаных сапог, крепкий сюртук, и чтобы в шкафу лежали всегда новые рубахи — на крайний случай.

Всё задалось, как себе Гаврила загадал. Он был рукаст, упорен и работать умел, а ещё ему повезло. Сначала в эту мечту свою он не верил, а потом понял, что у него уже есть завод, и сюртук, и полдюжины рубашек в шкафу — да не просто новых, а не местных, московских.

Тут бы Гавриле стать счастливым, но он стал задумчивым. Он вдруг понял — чего бы ему стоило не догадаться! — что, хотя картина в частности отличалась, в целом он мечты своей достиг. Тут бы ему выдумать себе новую мечту, но Гаврила был из

тех, кто мечты растит в себе долго, по двадцать лет, с самого детства. И другой мечты Гаврила выдумать себе не сумел. Он хотел было усилить свою мечту, подлатать её, сказать, что ещё всего не добился.

Он выписал себе три рубашки из Санкт-Петербурга. Когда они пришли, он только развернул каждую из них, чтобы проверить, что его не обманули — привык всё всегда проверять, а от попыток его обмануть — зверел, и наливались тёмной, словно бычьей, кровью его блёклые глаза. Но после отдал Наталье, чтобы убрала подальше, и, кажется, никогда не носил их.

Так ходил Гаврила какое-то время: с дырой в той части души, где прежде жила его мечта. Никто не мог заметить этого, а если бы и заметил, то ничего не смог бы сделать. В конце концов, это была чужая душа и чужая дыра.

И так шёл однажды Гаврила мимо кабака. Всё к этому шло, правда? Кабак — место вне пространства и времени, начало начал, конец концов. Гаврила замедлил шаг. На него повеяло тем, что затыкает любую дыру в душе — и боль, и невозможность жить, и потерю мечты, и даже обыкновенную скуку. А дальше — за чудесным запахом обмана, праздника, веселья — шли запахи нужды, горя, немытых тел, сточных канав, человеческой крови. Все знали о том аромате, что шёл вторым, но обычно не чувствовали и не боялись его.

И Гаврила повлёкся душой в этот страшный кабак.

Судьба его была уже как будто решена. В грядущем, что определялось его теперешними шагами по весенней и хрусткой тверской грязи прямо

к кабаку, уже слышался горький крик побиваемой Натальи, плач Семёна и других, ещё не рождённых детей, продажа с торгов завода, приговор суда, бряцанье кандалов.

Но между Гаврилой и кабаком пронеслась бричка, а в бричке сидела молодая и ладная бабёнка, укутанная — удивительное дело — в цветастый цыганский плат. Тут мысль Гаврилы прихотливо вильнула, но повлеклась почему-то не к этой конкретной женщине, а к цыганам в целом. Словно бы он увидел какую-то простоту в том деле, чтобы просто спиться. Это было бы чересчур обыкновенно, как мечта о дюжине рубашек. (А Гаврила выучил урок.)

На следующий день он пришёл в табор — так, как приходят, желая праздника. Он ждал, что его будут встречать девушки в цветастых платках, мужчины с гибкими гитарами, но его встречали три старухи: одна была кривая на левый глаз, другая на правый глаз, а на носу у третьей была огромная бородавка. Они говорили по очереди:

— Хочешь вечного праздника? Хочешь вечного пляса? Хочешь беззакония, счастливого беззакония без жестокости?

И Гаврила сказал:

— Хочу.

— А может, ты хочешь силу пить и не спиваться? Может, ты хочешь, чтобы праздник не заканчивался похмельем? Хочешь свободу, но так, чтобы за неё не платить? Это возможно, но будет стоить дорого.

— За деньгами дело не станет, — ответил Гаврила. — У меня завод.

Кривые старухи оглянулись на старуху с бородавкой: скосили на неё зрячие глаза. Она сказала:

— Деньги — это хорошо. Только за такое мы больше попросим. Мы попросим, чтобы ты отдавал нам то, что в своём доме не знаешь.

— Только в доме, не на заводе? В доме-то я всё знаю, а на заводе вот, бывает, что-то случается, — сказал Гаврила.

— Нет, только то, что дома. Хочешь?

Гаврила задумался о том, что было дома: только молодая жена и первенец, здоровый мальчик. Он огляделся. Возле цветастых кибиток стояли красавицы. Все они были очень разные, маленькие и высокие, фигуристые и худые, с волосами, заплетёнными в косы и распущенными, но каждая из них казалась Гавриле очень притягательной. Где-то тихо-тихо тренькала гитара. Стоит ему сказать «да» — и всё это придёт в движение, пойдёт в пляс, зазвенит, загремит, очарует его. Он ведь за этим пришёл, чего теперь медлить?

И Гаврила сказал:

— Хочу.

Чернобровые красавицы, золотые мониста, грудные низкие голоса, чад, в котором терялись часы и дни, чад, который делал любую ночь волшебной и единственной. Гавриле казалось, что он летит, что он падает в это чёрное золотое небо, и музыка его несла наверх, всё выше, выше. Мягкие руки цыганки, злые, огненные лады, отбиваемые пальцами гигантского цыгана. Друзья — близкие, как близнецы, понимающие как никто, душа в душу, совпадающие до последней трещинки — до тех пор, пока действовал хмель. Какие-то странные, чужие люди — когда хмель заканчивался.

Непотребные девки. Некрасивый, животный разврат — без вдохновения, без идеи. Простой,

неприятный поутру. Гаврила быстро их забывал, конечно. Гаврила мог пить три дня, а на четвёртый вставать — и как ни в чём не бывало шёл работать. Многие так пытались, но не выдерживали долго: их запои и загулы становились всё длиннее, а хмурые, похмельные, сознательные дни — всё короче. Потом хмурые дни становились всё более редкими, редкими, потом и вовсе пропадали. Пьяницы переходили в небытие прямо из колдовского леса спящего сердца и кружащейся головы.

Гаврила был не то. Гаврила был другое. Гаврила держал страсть в узде. Гаврила не бросал работу и трудился каторжно, но потом, почуяв нужный момент — гулял и гудел, и вместе с ним гуляла и гудела вся Тверь.

К жене — по странной прихоти — являлся уже только чистый, бритый, свежий. По-другому не приходил. Молодая, влюблённая или особенно гордая жена бы всё это могла порушить, но Наталья обладала большим чутьём, а главное, не любила его.

Другая бы плакала, требовала, упрекала — и этим бы сломала заветы или обет, что сам на себя наложил Гаврила. Тогда бы он перестал разграничивать, перестал бы говорить себе: здесь я грешу, а здесь нет. Все слилось бы воедино для него, и он не делал бы разницы между тут и там.

Но Наталья, вышедшая за него поздно, была младшей в своей семье, в которой хватало сестёр — и родных, и двоюродных, и троюродных. В маленькой Твери было не утаить греха, и хоть большинство сестёр хорохорились, приходя домой, Наталья этим не обманывалась. И увы, некоторые из её сестёр плохо жили со своими мужьями.